

Другие измерения



Артур Петровский

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ДО ДУЭЛИ*

*Былое нельзя воротить...
выхожу я на улицу
и вдруг замечаю:
у самых арбатских ворот
извозчик стоит...
Александр Сергеич прогуливается...
Ах! Завтра, наверное, что-нибудь
произойдет!*

Булат Окуджава

Не такое уж это удовольствие ходить взад и вперед по узкому тротуару, сторонясь прохожих и вообще стараясь не привлекать к себе чьего-либо досужего внимания. К тому же мне было холодно. Апрель в этом году выдался не очень теплым.

Я, конечно, знал, что пришел к этому месту вовремя, поскольку сопоставление дневниковых записей и некоторых писем, отправленных на другой день после званого обеда в доме отставного ротмистра гвардии Пашкова на Чистопрудном бульваре, не могло вызвать у меня сомнения. Однако не с точностью же до получаса определялось время появления интересующих меня лиц.

Устав, я прислонился плечом к стене хорошо знакомого мне с юности арбатского дома. Из подъезда, за которым я наблюдал, уже два раза выходил лакей, поглядывал в мою сторону, очевидно, я представлялся ему достаточно подозрительной личностью.

На другой стороне улицы в беспорядке были разбросаны небольшие особняки с белыми под мрамор колоннами. За ними гущевали огромные сады, норовя выплеснуться на улицу густыми разлапистыми ветвями.

Ко мне подошла какая-то баба в забрызганной грязью юбке, держа в руках корзину, покрытую довольно чистым полотенцем: «Купите, барин,

* Рассказ, написанный А. В. Петровским и включенный им в приложение к книге «Психология и время» (СПб., 2007).

прянички – медовые, сладкие, дешевые, – скороговоркой сказала она, – не пожалеете». «Чертовы инструкции, – думал я. – Пряники так увлекательно пахнут». Но я хорошо знал, что не имею права совершить ничего кроме того, что входило в мою задачу, и не произвести никаких действий, которые могли бы иметь хоть какие-нибудь последствия. Конечно, сюжет Рэя Бредбери остроумен, но все-таки в действительности от того, что путешественник во времени в эпоху динозавров раздавил бабочку, политическая конъюнктура в Америке через миллион лет измениться не могла. Случайность такого рода не может обрушить цепь великих закономерностей природы и общества. Тем не менее надо проявлять сугубую осторожность.

Баба еще топталась возле меня, соблазняя медовыми пряниками, как вдруг послышался грохот. Приткнувшись к тротуару, стояла телега, груженная бревнами. Вероятно, их верхний ряд был плохо закреплен, и они с шумом раскатились поперек улицы, полностью загородив проезд для экипажей. Извозчик, неказистый мужичонка, наскоро растаскивал их в обе стороны, освобождая проход для приближавшегося кабриолета. Кучер, проезжая, зло выругался и хлестнул кнутом по плечам и спине мужика. Тот втянул голову в плечи и отошел от телеги. Это происходило как раз у интересующего меня подъезда.

Наконец дверь подъезда растворилась и на улицу вышла в сопровождении лакея богато одетая дама. Ее взору представилась неприглядная картина. Ломовой извозчик пытался втолкнуть бревно на верх телеги, но, увидев гневно смотрящую на него женщину, явно заробел, уронил его, чуть-чуть не перебив себе ноги, сорвал шапчонку и низко поклонился. Дама отвернулась и посмотрела направо вверх по улице. Теперь я смог ее разглядеть. Да, бесспорно красива. Миниатюры, которые я видел, ей не льстили. Однако эталоны красоты существенно меняются век от века, и в чем здесь дело, не берусь судить. Тут я явно не компетентен. Может быть, причиной была нынешняя изощренная косметика, может быть, искусство парикмахера. Кто знает! Судить все-таки надо по меркам позапрошлого века. Она, в самом деле, была хороша.

Повернув голову налево, молодая дама увидела стоящую неподалеку карету и неспешно, почти величественно пошла по тротуару. Подойдя, она что-то сказала лакею и, не приняв его руки, не то что вошла внутрь, а вспорхнула туда.

Мне надо было действовать. Я быстро пошел в том же направлении и занял стратегически важную позицию между подъездом и каретой, не сомневаясь, что сейчас же или минутой позже появится на улице и ОН. Молодожены, как известно, в свои счастливые дни медового месяца больше чем на десять минут расстаться не способны. Так оно и случилось.

Я никогда не думал, что он такого небольшого роста. Его черный цилиндр не делал его более высоким, а, похоже, производил как раз обратный эффект. Он увидел лошадь, ломовую телегу, раскатившиеся бревна... рассмеялся, похлопал мужичка по плечу и сказал: «Ну, братец, угадал – мостить бревнами Арбат. Твое счастье, что поблизости я не вижу

квартильного. Скорее выпутывайся из этой беды». Извозчик при упоминании о квартирном три раза мелко перекрестился, а человек в цилиндре быстро пошел к карете. Я оказался у него на дороге:

– Милостивый государь, не соблаговолите ли Вы уделить мне одну минутку времени?

Он остановился и неприязненно спросил:

– В чем дело? У меня нет этой минутки.

– Видите ли, я хочу прочитать Вам стихи.

Тут он, потрясенный моей наглостью, более внимательно на меня посмотрел.

– Мне недосуг слушать Ваши стихи, – буркнул он и рукой подвинул меня с дороги.

– Почему мой? Ваши стихи.

Темперамент у него был явно холерический. Он зло выкрикнул:

– Я не нуждаюсь в уличных чтецах моих стихов. Когда надо, я читаю их сам – и пошел к карете.

Я спокойно в спину ему сказал:

*«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смиренным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра».*

– Да, собственно, почему Его Императорское Величество Александр I Благословенный больший враг труда, чем предшествовавшие ему царственные особы, за исключением, конечно, Петра Алексеевича? Или Вы не могли найти другой рифмы для завершающего этот катрен слова «труда»? Для такого мастера, как Вы, это же пустяк.

От моей иронии, рассчитанной специально для того, чтобы удержать его около себя, он, по всей видимости, оторопел. Некоторое время он молчал, обводя тростью один за другим булыжники на мостовой. Выписав несколько подобных вензелей, он повернулся ко мне и спросил:

– А почему Вы считаете, что это мои стихи?

Тогда я голосом следователя Порфирия Петровича сказал:

– Чьи же еще, батюшка, Александр Сергеевич, Ваши. Вы и сочинили-с.

Пушкин твердо посмотрел мне в глаза и спросил:

– Вы случайно не племянник его Высокопревосходительства генерала Бенкендорфа?

– Милостивый государь, я из другого ведомства, очень далекого от третьего Отделения.

Последовал ответ:

– Я давно подозревал, что кто-то очень интересуется моими бумагами, занимается, очевидно, перлюстрацией. Мой лакей успел Вас заметить.

– Это уж вовсе несерьезно, многоуважаемый господин Пушкин. Вы прекрасно знаете, что эти стихи там никто не мог найти. Припомните, 19 октября прошлого года Вы сожгли наброски для X главы «Евгения Онегина». Правда, несколько четверостиший Вы зашифровали, да так ловко, что их и через сто лет с огромным трудом сумели прочитать. Вот уж что ныне было бы не под силу «умникам» из Третьего Отделения. Среди зашифрованных строк была как раз и та, которую я позволил себе прочесть Вам. Однако Вы не должны порицать себя за случившееся аутодафе. Не поступи Вы таким образом, кто знает, может быть, через четыре месяца после этого жертвоприношения, а следовательно, сразу после женитьбы, Вы могли бы отправиться в свадебное путешествие по Сибирскому тракту.

Говоря это, я как-то внутренне ежился. Что я себе позволяю! Как можно в таком тоне беседовать с Великим поэтом! Однако не я сценарист и режиссер этого представления, я всего лишь исполнитель предложенной мне роли.

В это время очаровательная супруга, потеряв всякое терпение, вышла из кареты и направилась к нам. Одарив меня недобрый взглядом, она по-французски напомнила мужу, что их ждут в гости на Чистых прудах. Почти не задумываясь, он сказал:

– Дорогая Натали, пожалуйста, поезжайте вперед. Я возьму извозчика и через полчаса приеду. Мне надобно серьезно переговорить с этим господином, – и, нежно взяв жену под руку, он проводил ее в экипаж.

Надо было развивать успех.

– Уважаемый Александр Сергеевич, – сказал я, – мне хотелось бы предложить Вашему вниманию несколько интересных карточек, – я достал из кармана небольшой пластиковый пакетик, в который были завернуты фотоснимки.

Пушкин провел рукой по бакенбардам и с презрением бросил:

– Это, вероятно, французские непристойные картинки с голыми девками. Так вот, это меня не интересует. Я их достаточно, – тут он понизил голос и оглянулся на карету, – повидал в натуральном виде. Их у Вас с удовольствием купит вон тот отрок. Для него это будет увлекательное зрелище.

По другой стороне улицы проходил мальчик лет 12–13. За ним плелась гувернантка. Однако вопреки этому заявлению я заметил, что мой собеседник с большим интересом смотрит на пакетик. Я достал фотографии, но он отстранил их и взял в руки тонкий пластик. Ощупал его с явным удивлением и вдруг неожиданно для меня по-детски улыбнулся, подтянул его к губам, слегка присборил и надул. Затем выпустил из него воздух и весело рассмеялся. Я понял, что весь мой план сейчас пойдет прахом. Он попросит у меня пакет, я не смогу ему отказать, хотя Инструкция категорически не допускает, чтобы какие-либо предметы остались после моего исчезновения из этих мест. На мое счастье, его любопытство было преодолено щепетильностью. Он, вздохнув, вернул мне заинтересовавшую его вещь. Взглянув на фотоснимки, взял их. По-видимому, то, что он увидел, было для него полной неожиданностью, он посмотрел одну за другой фотографии и взглянул на меня с полным изумлением.

Дело в том, что это были снимки Арбата разных годов, начиная с последних лет XIX века. Можно было видеть, как на каждом из них возникают изменения, которые все более и более отдаляли Арбат от того облика, который был сейчас перед нашими глазами. Каждый снимок был датирован вплоть до 2000-го года. Пушкин вытянул одну из «картинок», я посмотрел – год 1967-й, и спросил:

– Что это за тюлени и крокодилы на мостовой? Кстати, и булыжника не видно. Похоже, что это утрамбованный гравий.

Как ему объяснить, что такое автомобиль? Я сказал, что это самодвижущиеся повозки, которые очень быстро перемещаются с места на место.

– Если бы Вы забрались внутрь этого «крокодила», то были бы на Чистых прудах через две-две с половиной минуты, конечно, если какой-нибудь растяпа не рассылет бревна, – это была хорошо продуманная в Хроноцентре комбинация. Можно было убедиться, как изменяется во времени предметный мир и оказывается возможным прозревать будущее. Вернув мне карточки, он сказал:

– Благодарю Вас. Пройдемте, пожалуйста, в дом, – посмотрел вниз по улице и вздохнул. Карета, все это время стоявшая у тротуара, медленно отъезжала. Наталье Николаевне, видно, надоело ждать.

У самого подъезда он спросил меня:

– А что это за дощечка, которая около подъезда? Она видна на многих картинках. Там очень мелкие буквы, но свою фамилию я разглядел. А между прочим, это дом не мой, а госпожи Хитрово. Не произошла ли какая-то неприятная путаница?

– Госпожи Хитрово? Все эти подробности, вероятно, будут интересны для нескольких историков, а для всего русского народа это раз и навсегда «Дом Пушкина». И никак иначе.

Был бы передо мной обыкновенный человек, у него от радости могла бы закружиться голова. Но передо мной не было «обыкновенного человека». Пушкин некоторое время смотрел через мое плечо так, как будто позади меня стоял кто-то очень высокий. Потом снял цилиндр и вытер платком лоб.

Мы вошли в переднюю. Он что-то приказал лакею, тот поклонился. Поднимаясь по лестнице, мы молчали. Потом он пояснил:

– Я снимаю комнаты на втором этаже.

Не доходя до кабинета, Пушкин вдруг остановился и несколько раз постучал по полу тростью:

– А Вы, случайно, сударь, не оттуда?

Я ответил:

– У Вас есть великолепная возможность проверить. Осените меня крестным знаменем и прикажите: «Изыди, сатана». И если я не провалюсь в адском дыму и пламени сквозь наощенный паркет, то Ваши сомнения исчезнут.

Он засмеялся, но все-таки указал тростью на потолок:

– И не оттуда?

Вообще-то это объяснение меня устраивало. Не рассказывать же ему устройство, задачи и технические возможности Хроноцентра – безнадежное это было бы дело. Я напустил на лицо выражение загадочности и мно-

гозначительно промолчал. Однако наивно было ожидать, что я смогу провести умнейшего человека XIX столетия, который давно понял, «откуда» я прибыл. Он потрепал меня по плечу и сказал:

– Вы, многоуважаемый, в этом доме ни Богу свечка, ни черту кочерга. Кстати, я не знаю, как Вас величать.

– Алексей Петрович Крымский, к Вашим услугам, – я поклонился.

– О звании и чине спрашивать, очевидно, не надо, – я подтвердил это кивком головы.

– Ну что же, пройдемте в мою временную обитель, – и он повернул бронзовую ручку двери кабинета.

Мы вошли. Классический музейный интерьер – мебель красного дерева «павловский амбир» – был нарушен беспорядком бумаг на бюро, ворохом женского платья на ближайшем кресле. Из-под платья выглядывала белая с оборочками юбка, явно интимная часть белья Наталии Николаевны. Проследив за моим взглядом, хозяин снял с себя крылатку, и набросил ее на «нескромные сокровища», скрыв их от моих взоров. Разумеется, я не стал выяснять, почему Наталье Николаевне понадобилось переодеться не в будуаре, а в кабинете мужа. Не говорить же о «странностях любви» медового месяца.

Хозяин кабинета прошел к небольшому поставцу, стоящему в углу, вытащил бутылку, две рюмки и сказал мне:

– Может быть, для начала выпьем по рюмочке. У меня неплохой лафит.

Выпить по рюмочке с Александром Сергеевичем Пушкиным для меня означало, может быть, главное событие моей жизни. Если бы в мою рюмку был налит не лафит, а денатурат, я бы все равно выпил. Но Инструкции!.. Инструкции... с их запретами! Вздохнув, я сказал:

– Зарок. Ни капли вина до Троицы.

– Сожалею, – улыбнулся он и добавил, – по всей вероятности, Вы давненько в Москве не были. И я полагаю, не менее чем тридцать лет.

– Почему тридцать лет?

– Ну, двадцать пять.

– А почему двадцать пять?

– Видите ли, жилет, который Вы носите, был в моде году в 1805-м или 1809-м. Конечно, на Арбате никто на Вас пальцем указывать не будет, но я бы Вам не советовал появляться в свете.

Он был прав. Черт бы взял этих девчонок из Русского отдела исторической костюмерной. Они мне всучили жилет, которым я пользовался сравнительно недавно, когда был направлен в Москву для того, чтобы сфотографировать рукопись «Слова о полку Игореве», хранившуюся у графа Мусина-Пушкина. У историков возникал целый ряд вопросов, связанных с неграмотностью писцов, которые, не зная многих слов, употреблявшихся в те далекие Игоревы времена, вносили в текст копии малопонятную отсебятину. Как известно, это привело к сомнению в подлинности «Слова...», рукопись которого сгорела во времена московского пожара в 1812 году вместе со всей библиотекой графа. Я выполнил это задание, хотя испытал много трудностей, прежде чем сумел проникнуть в святая

святых. К своему стыду, я должен признаться, что «роскошный московский денди» вынужден был обольстить дочку зрителя Коллекции.

Александр Сергеевич прервал мои воспоминания, спросив:

– Но, однако, Вы, господин Крымский, прибыли сюда не для того, чтобы читать мне на улице стихи, показывать интересные картинки. У Вас ко мне, вероятно, какие-то серьезные дела, не правда ли?

– Вы правы, я здесь не без корысти. Хотя опасаясь, что могу быть слишком назойливым. И этим Вас раздосадовать. Литературоведы, я имею в виду ученых XXI столетия, поставили передо мной ряд вопросов, на которые можете ответить только Вы сами. Дело в том, что существует огромное количество книг историков и филологов, посвященных Вашему творчеству. Но не все понятно. Не все места Ваших рукописей расшифрованы. У меня здесь есть небольшой перечень этих вопросов. Может быть, Вы на них ответите. Это касается и некоторых инициалов, непонятных и измененных фамилий, намеков на какие-то обстоятельства и т.п. Ну, словом, у меня есть список, составленный специалистами, так называемыми пушкинистами. Я сам в этом не очень смыслю, но запишу все то, что Вы мне скажете, если, конечно, соизволите ответить.

Подумав, Пушкин сказал:

– Соизволю, – и четко, последовательно, с полной откровенностью ответил на все поставленные вопросы – от первого до последнего.

Я заметил:

– Очень рад, что вы не беспокоитесь о том, что это прочтут Ваши ближайшие потомки. Это прочтут более чем через двести лет.

– Я потому и говорю всё как есть. Но Вы ничего не записывали. Вы сумеете всё это воспроизвести по памяти?

Я улыбнулся:

– Вот, послушайте, – положив руку на вторую пуговицу моего сюртука, я повертел ее, и через некоторое время в комнате раздались наши голоса. Это был фрагмент из только что законченного интервью: «...Ответьте на такой вопрос, каких двух лиц Вы имели в виду, когда писали Дельвигу о полной полярной противоположности их натур, при этом один далеко пойдёт, а другой, как Вы заметили, далеко поедет». – «Неужели вашим историкам не было понятно? Конечно, Горчакова и Кюхельбекера. Каламбур весьма пророческий, но очень уж мрачный. Ну, о судьбе Кюхельбекера Вы, естественно, знаете – в какие дальние края он был отправлен, а что касается Горчакова, то я убежден, что он сделает большую карьеру. Может быть, до “действительного статского” дослужится».

– Поднимайте выше. Канцлером будет, министром иностранных дел. Вот так!

Последовало молчание...

– Ну что же, я сегодня и не таких чудес наслушался. Кажется, там, в передней, я допустил ошибку. По-видимому, мне надо было воззвать к Отцу нашему и попросить «избавить от лукавого»...

Я возразил:

– Если бы Ваши далекие предки слышали, как брегет в Вашем жилетном кармане вовремя вызванивает Вам завтрак и обед, они сочли

бы все это дьявольскими происками. Механика, дражайший Александр Сергеевич, не стоит на месте. Она движется вперед.

Надо сказать, что пуговицы на моем сюртуке были многоцелевым агрегатом, обеспечивающим аудиовизуальную запись всего, что происходило с момента нашей встречи на Арбате. Следует также признаться, что вопросник, который я предъявил, как и ответы, мною полученные, были, конечно, крайне интересны историкам, однако ради этого никто бы меня не отправил в столь дорогостоящее путешествие. Это была всего лишь прикрывающая версия. Задача заключалась в том, чтобы я привез фильм, где героем был бы сам Пушкин.

Поэт отошел от меня к бюро. Сел в кресло. Подпер голову рукой и сказал:

– Я сочинил много сказок, но в сказки я не верю. В эту я поверить вынужден. Чем и как я могу Вас отблагодарить. Денег, Вам, очевидно, предлагать не надо. Они Вам ни к чему, – я кивнул. – Так что же я могу Вам дать?

Я не мог устоять против соблазна.

– Если бы Вы так расщедрились, что дали мне две, я уж не говорю, три страницы Ваших черновиков, пусть уже явно Вам не нужных, это был бы самый замечательный подарок, который я когда-либо получал в жизни.

– Извольте. – Он порылся в бумагах, вытащил одну страничку, проглядел ее, потом откуда-то из другого места – другую, наконец – третью. Хитро посмотрел на меня и достал четвертую. Еще раз просмотрел каждую и передал мне. – Только зачем они Вам? В лавке за них и полушки не дадут. Для того чтобы заворачивать селедку, они слишком малы. Между прочим, уважаемый Алексей Петрович, стихи эти напечатаны и изменений здесь было не так уж много. Разве что мои бездарные рисунки на полях. Да и боюсь, что мои поэтические таланты Вы слишком преувеличиваете, сударь.

– Что касается их стоимости... Я не намерен продавать их кому бы то ни было. Это государственное достояние. Что касается реальной цены этих страничек, то, как бы Вам это объяснить... Ну, скажем, так. Они стоят примерно 150–200 душ крепостных, не меньше, и одну-две деревеньки.

– Что?! – вскричал Пушкин. – Вы, наверное, шутить изволите.

– Ни в коем случае. Правда, что касается так называемых душ, то через тридцать лет сын Вашего нынешнего государя Александр II освободит крестьян от крепостной зависимости и счет «на души» утратит свое значение.

Тут я увидел, что он потрясен.

– Крепостных больше не будет... больше не будет, – бормотал он. – Это невероятно, но я Вам верю, – как-то особенно подчеркнув последнее слово, произнес он. – За это... за это, – он обвел глазами комнату, как-то оценивающе приглядываясь к каждой вещи. Потеребил цепочку часов, а потом вдруг нагнулся и выхватил из лубяной корзины, стоявшей подле бюро, столько бумаг, сколько мог удержать в руке. Это были перечеркнутые, разорванные и совсем целые листочки. Не глядя на них, он сунул мне в руки эти бумаги. Переведя дух, иронически заметил:

– Однако, уважаемый Алексей Петрович, у Вас руки дрожат, – в это время я с излишней торопливостью засовывал полученные мною драгоценности во внутренний карман сюртука. – Может быть, еще одну деревеньку сможете прикупить.

– Какую деревеньку, уважаемый Александр Сергеевич! Село с церковью с пономарем, кабаком и кабатчиком в придачу.

Мы рассмеялись.

– Вы мне позволите, в свою очередь, задать Вам один вопрос, – почему-то нерешительно спросил он меня.

– Ну, разумеется, – это был рискованный шаг. Надо было с самого начала догадаться, каков будет этот вопрос.

– Скажите, когда я подобно Вещему Олегу «могильной засыплюсь землею»?

– Дорогой Александр Сергеевич, я не кудесник, который предсказывает кончину человеку. Этого Вам не надо знать.

– Но Вы-то знаете?

– Знаю. Но говорить не буду. Это лишнее, – тут я увидел, что он побледнел и положил руку на сердце.

– Но это будет не скоро, не скоро, – поспешил я его заверить. Я буквально покрылся холодным потом. А что, если с ним приключится инфаркт или, как тогда это называли, разрыв сердца. Тогда я окажусь величайшим преступником столетия. Сердце поэта – не бабочка Рэя Брэдбери. Вся история русской культуры развалится как картонный домик. Даже этот «великосветский шкода», Жорж Дантес, в сравнение со мной не пойдет. Там все-таки был поединок. Что тогда делать? Останется только найти кратчайший путь к Москве-реке и утопиться. К счастью, я увидел, что мое неопределенное обещание («это будет не скоро») как будто успокоило его. Отлегло от сердца. Но я чувствовал, что его мучит еще один вопрос, только он не решается его задать. Потом все-таки вымолвил:

– А Натали... Наталья Николаевна в мой смертный час будет со мной? – все было понятно. Для молодожена очень важно узнать, останется ли ему до кончины верной его жена.

— Да, – сказал я, – Наталья Николаевна до последнего часа будет рядом с Вами.

Он буквально просиял.

– У меня к Вам просьба, Алексей Петрович, Вы давеча там, на улице посулили почитать мне мои стихи. Я тогда разворчался. Не окажете ли мне Вы мне любезность прочесть из того, что я еще не знаю, – не встретив с моей стороны возражений, он сказал:

– Прошу Вас, доставьте мне удовольствие.

Помедлив, я прочитал:

*«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... и глядь – как раз – умрем.»*

*На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег».*

Он слушал внимательно, и по его лицу было ясно, какое сильное впечатление произвели на него эти строки... И вдруг совершенно неожиданно для меня Пушкин стал читать сам эти стихи, не допустив ни одной ошибки, ни одной запинки, строго воспроизводя то, что он только что услышал. Но как он читал! Как проникновенно, как волнующе! Я оказался первым и единственным человеком на моем веку, кто не только видел и разговаривал с поэтом, но и слышал, как он читает свои произведения.

Впрочем, радость моя длилась недолго.

– А когда я написал, – простите великодушно, – напишу эти стихи? – Лицо его напряглось. – Каким годом датировано это стихотворение?

«Вот оно что, – подумал я. – Это называется не мытьем, так катаньем. Вот что ему нужно. Ясно, почему мне пришлось декламировать...»

Я сказал:

– Дело в том, что у меня еще со школьных лет было неважно с хронологией. Точную дату назвать не могу. Но, судя по содержанию, стихотворение написано человеком в годах. Ведь как раз, чувствуя приближение последнего часа, люди пишут такие строчки. Надеюсь, Вы согласитесь со мной?

Пушкин встал со стула, быстро прошел по комнате. Он улыбался. Я сидел в кресле, испытывая стыд, поскольку лгал в лицо великому человеку; мне помнилось, что литературоведы датируют эти строчки 1834 годом.

Пушкин подошел к окну, посмотрел вниз, кому-то кивнул, затем подошел к дивану и сел на него, достал свои часы, сверил их с теми, которые стояли на камине. Было понятно, что randevу пришел конец.

Я приблизился к дивану и, слегка наклонившись к нему, спросил:

– Можно ли мне задать Вам еще один, последний, вопрос? Через минуту-другую я покину Вас и, по всей вероятности, к величайшему сожалению, навсегда, – он с некоторым напряжением поглядел в сторону бюро. Я сказал:

– Нет, нет, речь не идет о литературе. Просто мне хотелось бы знать, какие духи предпочитает Ваша супруга, – такого вопроса мой собеседник уж никак не ожидал. Помолчав, он пробормотал:

– Духи?.. Какие духи?.. Не знаю, кажется... – и он назвал какую-то французскую, совершенно неизвестную мне фирму.

– Как Вы думаете, понравятся ли ей вот такие духи? Я извлек из кармана сюртука сверкнувший алмазными гранями дивной красоты флакон и отвинтил пробку.

Он смотрел на меня с таким негодованием и недоумением, каких я до сих пор в его глазах не замечал. Я быстро поднес флакон к его носу и сказал:

– Вдохните, какой изумительный аромат! – он отстранил мою руку, жестко заявив:

– Аромат как аромат! Но как Вы, милостивый государь, осмелились думать, что я разрешу преподнести моей супруге... – голос его оборвался, он закрыл глаза, и голова его прислонилась к полированному полукружью верхушки дивана. Со стороны это, вероятно, выглядело как сцена из спектакля «Моцарт и Сальери», поставленного каким-то новомодным режиссером. В действительности, все было не так. Во флаконе была жидкость, представляющая сложное биохимическое соединение.

Вечный балагур Мишка Генборик утверждал, что это экстракт из «травы забвения». Врал, конечно, химия и ничего кроме химии. Действие этого «экстракта» мне было хорошо известно. Понюхавший его по неосторожности человек будет спать не менее пяти минут, и в это время придет в состояние гипертелепативности, то есть сверхвнушаемости. То, что ему прикажет некто, находящийся в роли гипнотизера, будет неукоснительно выполняться. Я наклонился к поэту и сказал:

– Вы забыли все, что с Вами произошло после того, как Вы встретились на арбатском тротуаре с незнакомцем. Вы никогда об этом не вспомните... Наталье Николаевне скажете, что Вас задержал какой-то неизвестный Вам издатель, посулил невероятные выгоды, однако после разговора в Вашем кабинете выяснилось, что он пустомеля, и Вы его выставили вон.

Никаких изменений на лице спящего. Я посмотрел на каминные часы. Оставалось мне не более двух минут. Метнув алчный взгляд на бюро и подавив в себе криминальные наклонности, подошел к камину. Над ним висело большое зеркало, в котором отражалась чуть ли не вся комната. Это оказалось очень удобным для того, чтобы снятый мною видеofilm не выглядел как «театр одного актера». Я кинул на тлеющие угли флакон, литературный вопросник и пакетик с фотографиями. Флакон буквально испарился. Бумага вспыхнула и превратилась в пепел. Я шагнул к дивану, посмотрел на дорожное мне и многим миллионам людей лицо, понимая, что это мой последний взгляд на великого поэта. Потом направился к двери, открыл ее и вышел.

Через две-три минуты я шел в сторону Арбатских ворот, перешел на другую сторону улицы и стал за деревом. Посмотрел назад: у подъезда дома, который я только что покинул, стоял извозчик. Я подождал еще немного. Быстрой походкой из подъезда вышел Пушкин, вскочил в пролетку и ткнул кучера тростью в спину. Они поехали. По дороге он раскланялся с какой-то дамой. Проезжая мимо меня, улыбался. Окинув меня безразличным взглядом, что-то сказал кучеру. Тот хлестнул лошадь, и экипаж быстро покати́л вверх по улице.

Теперь я уже был абсолютно спокоен. Постгипнотическое внушение оказалось безотказным. Я продолжал следить за его экипажем. Однако он неожиданно остановился. Пушкин из него выскочил и быстро побежал к стоявшей у обочины знакомой уже мне карете. Наталья Николаевна терпеливо, а может быть, и весьма нетерпеливо, его ожидала.

Извозчик остановил пролетку неподалеку от меня и почесал затылок серебряной монеткой. Был он явно раздосадован, поскольку, очевидно, рассчитывал на дальнюю поездку, а проехал всего два квартала по Арбату. Сделав несколько больших шагов, я добрался до пролетки и прыгнул на сидение.

– Дядя! – сказал я. – Рубль тебе на «пропой души». Надо поравняться вон с той каретой и ехать рядом.

– Премного благодарен, Ваше благородие, – затем он чуть слышно проворчал, – а что до души, барин, то ты ее не трожь! Она не твоя и не моя, а Божья.

Я подумал, что выражение «на пропой души» – это, быть может, анахронизм для начала 19-го века. Вскоре мы ехали параллельным курсом с каретой.

Вдруг из открытого окна я услышал голос Натальи Николаевны:

– Боже, Александр, посмотри, кто там сидит! Это он! Я его узнала! Это он!

– Кто он? Кого ты там видишь?

– Это тот человек, с которым ты говорил у подъезда, с которым ты ушел в дом. На нем тот же, не по моде, жилет... Та же внешность! Я успела хорошо его разглядеть.

В окошке кареты появилось лицо Пушкина. Мне показалось, что в раме помещен его живой портрет, напоминавший какую-то картину из Третьяковки. Он долго и внимательно всматривался в мое лицо. Я же, небрежно поглядев в сторону кареты, вытащил записную книжку и стал перелистывать странички. «Портрет» исчез. Я услышал голос: «Натали, я никогда в жизни не видел этого человека. Ты ошибаешься».

– Это он! Он! – твердила она. – Я его боюсь! Он преследует нас. Подними окно и задерни занавеску!

Все это было тут же исполнено.

Я приказал извозчику придержать лошадь и взять вправо. Теперь мы ехали позади кареты. Хорошо был виден задок экипажа и небольшое стеклянное окошко под самой его крышей. Вытащив из кармана зеркало в металлической оправе с короткой ручкой, украшенной несколькими позолоченными звездочками, я принялся рассматривать свою физиономию, поглаживая щеки, как бы проверяя, хорошо ли выбрит, и приводя в порядок растрепавшиеся волосы. Еще и еще раз я рассматривал себя с разных сторон. Если бы на улице был народ, я бы выглядел чем-то вроде Нарцисса, который не устает любоваться своей прелестью. Однако улица была пуста. Только далеко впереди ковыляла старушонка да подле лавки стоял, почесывая свои подмышки, какой-то малый, по-видимому, сиделец, в рубашке навыпуск и надетом поверх нее жилете. Я приказал извозчику остановиться, спрятал в карман зеркало, спрыгнул с подножки, рассчитался. Карета с супружеской четой была уже на Арбатской площади и поворачивала налево к Никитскому бульвару. Я долго смотрел ей вслед и затем окунулся в зеленеющую путаницу арбатских переулков.

Дальше мой путь лежал по многочисленным закоулкам, дорожкам через пустоши, маленьким улочкам. Честно говоря, во всей этой путанице нелегко было найти дорогу. Проходил мимо заброшенных садов с упавшими заборами и ухоженных дворянских с пока еще пустыми клумбами. Потом неожиданно справа от меня оказался высокий забор с крепко закрытыми воротами, за которым раздавался бешеный лай псов. Как этот явно купеческий дом мог оказаться в окружении дворянских гнезд?! Наконец,

я вышел к длинному немощенному переулку со следами карет в пяти шагах от большого барского дома. На веранде сидела девушка с книгой на коленях и смотрела куда-то в даль. Услышав мои шаги, она повернула голову, я приподнял круглую петербургскую шляпу, поклонился. Она мило улыбнулась. Я прошел дальше, минуя дворовые постройки.

Устал я смертельно. Сутки во рту не было ничего. Я подумал: «Хорошо бы познакомиться с этой барышней, попить в задних комнатах дома наливки, чаю с вишневым вареньем и ватрушками, а потом погостить у них, погулять с ней по липовым аллеям». Куда там! Может быть! Может быть, сейчас ученый совет Хроноцентра принимает давно назревавшее решение, и я не далее чем через две недели отправлюсь к опричному двору, что неподалеку отсюда. Там, если удастся избежать встречи с Малютой Скуратовым и его подручными, мне надо будет сфотографировать какие-то «пытошные записи», без которых нашим историкам и свет не мил.

Профессия визитера и научного сотрудника, который тащит за собой хвост посетителей по залам Исторического музея, существенно различается. Так, мой коллега, известный визитер Иван Пшеничный был отправлен в командировку, которая не отличалась особой сложностью. Ему надо было побывать в доме полковницы Ушаковой, который стоял, да и сейчас стоит в Хамовниках между Остоженкой и Москвой-рекой. Там, по непроверенным сведениям, были спрятаны последние крамольные записки Александра Николаевича Радищева. Блестящий гвардейский офицер передал привет от петербургской кухни, произвел приятное впечатление на хозяйку, тем более что у нее была дочь на выданье, пообещал зайти к вечеру, но так там больше и не появился. Маменька корила дочку, что та дичилась, была недостаточно любезна с редким гостем, барышня рыдала. Но это все домыслы. А факты таковы.

Аппарат Пшеничного, как это предусматривало программное устройство, был через 48 часов самоуничтожен, не оставив даже облачка пара; на условленную встречу с аварийной командой в укромном местечке в Марьиных Рощах сам Ваня Пшеничный так и не вышел: ни через неделю, ни через две. Между тем речь шла не о визите к кнутабойцу Степану Шешковскому спросить, «что у крокодила на обед», а всего лишь к безобидной хозяйке скромного дома близ Зачатьевского монастыря.

Забираясь влево, я старался обойти обширное имение графа Гагарина, направляясь к Пречистенке. Невольно вспомнилась эпиграмма Пушкина: «Когда Потемкину в потемках я на Пречистенке найду, то пусть с Булгариным в потомках меня поставят наряду». Впрочем, до потемок было еще далеко. Через пять минут я наверняка должен был быть у цели. Должен был быть. Один мой друг любил говорить: «Все должно быть так, как быть должно, если, конечно, не будет иначе». Занятый мыслями о недавних моих арбатских приключениях и замечательной встрече, я пропустил один переулочек и завернул по ошибке в следующий. Оказалось, это был тупик. Надо было поворачивать обратно. И в этот момент я увидел, что в конце тупичка на пне сидит огромный мужик в рваной грязной поддевке или чуйке (точного названия этого верхнего платья я не знал) и в опорках на босу ногу. При виде меня он поднялся, и я поразился его росту:

он был на голову выше меня и, пожалуй, вдвое шире. На мой взгляд, мужик весил не меньше 140–150 кг. «Барин, – сказал он, – одолжи пятиалтынный – родителей помянуть. А если рублика не пожалеешь, то я и за рублик на тебя обиду не буду держать». Этого только не доставало! Я круто повернулся и пошел к выходу из переулка.

Конечно, я допустил серьезную ошибку. В два или три шага он догнал меня и всей тяжестью огромного тела навалился мне на спину. Его толстые как бревна руки облапили меня, нашаривая в жилетных и сюртучных карманах тот самый «рублик». Ни один из приемов самозащиты не позволил бы освободиться из этих медвежьих объятий. Но тут он нащупал сквозь тонкое сукно сюртука пушкинские бумаги. Я невольно рванулся. Он прохрипел мне на ухо: «Не трепыхайся, соколик, не трепыхайся, а то я твое личико назад к себе поверну». В том, что он с легкостью может свернуть мне шею, сомневаться не приходилось. Только когда этот гигант слегка освободил мне правое предплечье, отыскивая внутренний карман сюртука, я засунул руку в потайной карман брюк и извлек шокер, прижав его наугад к брюху вора. Электрический разряд был, очевидно, даже для этой туши чрезмерным. Он сразу отпустил меня. Оглянувшись, я увидел, что мужик зашатался и тяжело рухнул в прошлогодний сухой бурьян. К счастью, у меня был этот шокер – единственное оружие, которое позволялось иметь визитерам.

Успокаивая сердцебиение, я стоял над упавшим, думая о том, что должно было наверняка произойти: через некоторое время в вестибюле Хроноцентра на мраморной доске под надписью «Иван Антонович Пшеничный» было бы выгравировано мое скромное имя.

Я вышел из горловины переулка. Мужик пролежит еще минут десять, потом встанет, не понимая, что с ним произошло.

Сквозь голые ветви крон деревьев уже был виден купол и покосившийся крест церкви на углу Староконюшенного переулка. До цели было всего несколько шагов. Я подошел к заброшенному дому с окнами, забитыми досками, и прошел в глубину двора к развалившемуся каретному сараю. Открыл универсальной отмычкой ржавый замок и зашел внутрь. В сарае была полутьма. Справа стоял возок без колес и с оторвавшейся дверцей. По-видимому, он относился либо ко времени Елизаветы Петровны, либо Анны Иоановны.

Закрыв на засов ворота сарая, я присел на подножку возка. Достав из кармана зеркало, которое было чем угодно, но только не зеркалом, я повернул позолоченную звездочку. Раздалось какое-то шипение, стук колес, потом возник взволнованный голос Натальи Николаевны. Она что-то говорила мужу по-французски. Французский язык я знал хуже, чем немецкий и английский, и поэтому, еще раз поколдовав над ручкой «зеркала», я включил синхронный перевод. Она говорила:

– Ты можешь обижаться на меня или не обижаться, но я тебе не верю. Не верю ни в какого издателя, ни в какие переговоры с ним. Почему ты не мог назначить ему другое время для встречи? Как ты мог бросить меня одну?! Ты понимаешь, в какое положение ты меня ставил?! Если бы я приехала на званый вечер без мужа, какая радость была бы для московских кумушек! Всем же известно, что у нас с тобой медовый месяц. Да ты

и сам не даешь мне об этом ни на час позабыть. Сегодня днем, в твоём кабинете, я... – она замолчала, не окончив фразы. Ну, скажи, скажи, – она всхлипнула, – зачем тебе понадобилось меня обманывать? Не мог же ты забыть лицо человека, с которым недавно разговаривал и на улице, и в доме! Зачем эти выдумки? Издатель? Какие-то деньги! Что ты можешь ответить? Что ты скрываешь от меня?

Я долго прислушивался, наконец, услышал тихий, тоскливый голос: «Натали, был издатель, был! Я это хорошо знаю, но вспомнить его не могу. Не могу сказать, о чем мы говорили. Да, он обещал какую-то прибыль за издание каких-то моих стихов. Но какую прибыль, каких стихов... Это мучительно. Ты права, когда напоминаешь, что у нас медовый месяц. Но поверь, сегодня самый несчастный день этого самого счастливого месяца моей жизни».

Я выключил запись, мельком глянул в зеркало на свое мрачное лицо. Как же я плохо все рассчитал, какой черт дернул меня последовать за их каретой, как я мог допустить, что Наталья Николаевна меня смогла разглядеть и узнать! Женщины так приметливы и без труда запоминают лицо и одежду человека, особенно в моменты важных для них обстоятельств. Вот она, оборотная сторона постгипнотического внушения. Пушкин не способен выйти за пределы навязанной ему в гипнозе легенды и, столкнувшись со свидетельницей, легко мог быть уличен в несообразности объяснений. Это я превратил его в обманщика... Конечно, молодожены, поссорившись, в конце концов мирятся, но если эта небольшая трещина в будущем расширится и разрушит их семейное согласие, то кто будет виноват? Уж лучше бы этот мужик в переулке ограбил меня, это было бы легче перенести, чем тот стыд, который я в этот момент испытывал.

Я встал, посмотрел на кучу первозданного хлама в углу сарая, на древнюю карету, на копну соломы, которой был прикрыт мой хроноплан. Несмотря на мое невеселое настроение, я почему-то вспомнил, как шутник и фантазер Мишка Генборик, сопровождаемый своей неизменной спутницей – рыжеволосой девчонкой из отдела первичной обработки хроноинформации, предложил назвать мой аппарат «покорителем эпохи». «Как славно, как хорошо!» – воскликнула его рыжекудрая спутница. Я возразил, что, на мой взгляд, это слишком пышное название для моего драндулета. Мишка пожал плечами, бросив: «Пожалуй, назови ее «Антилопой-Гну», и гордо удалился под руку со своей подругой.

У стены лежали ржавые вилы с гнилым обломком черенка. Я еще долго стоял посреди сарая, глядя на свет, пробивавшийся сквозь щели разошедшихся досок. Вновь и вновь в моих ушах звучал неповторимый, волнующий голос Пушкина, читавшего свои, еще не написанные стихи. «Пора, мой друг, пора», – сказал я себе, взял, наконец, вилы и стал отбрасывать солому. Пора покинуть Первопрестольную, не покидая ее.

Москва, 2005–2006

